

Евг. Давыдов

ПИСЬМА И ЗАМЫСЛЫ

I

Стих вяло тянется, холодный и туманный,
Усталый, с лирою я прекращаю спор.

Так «вяло тянется, холодный и туманный», 1834 год на творческом пути Пушкина. Поэт молчит за весь этот сумеречный год: «усталый, с лирою» он «прекращает спор».

Один только лирический отрывок за весь год, — это — проникнутое горьким упреком стихотворение «Он между нами жил...», обращенное к Мицкевичу, недавнему другу-поэту, с которым

Делились мы и чистыми мечтами
И песнями...

Мысль поэта ищет других путей. Пушкин намечает в 1834 году реальное осуществление давно поставленной задачи — дать историю Петра I.

Он почти уверен, что первые главы будут им закончены в этом году.

«К Петру приступаю со страхом и трепетом» — говорит он в письме к М. П. Погодину в начале года.

«Ты спрашиваешь меня о Петре? — пишет он жене в мае 1834 г., — скопляю материалы, привожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник».

«Петр I-ый идет; того и гляди напечатаю 1-й том к зиме» — так он пишет 11 июня.

Полгода мысль Пушкина прикована вновь создавае-

мым реальным, исторически-правдивым обликом Петра, превознесенного им ранее в образах полуфантастического героя «Медного всадника» и «Полтавы».

«Державец полумира», «уздой железной» Россию поднявший «на дыбы», властелин, чей «лик... ужасен», — обращается в мудрого правителя, давшего «достойные удивления» государственные учреждения.

«Он прекрасен. Он весь, как божия гроза... могущ и радостен, как бой...» — так говорил поэт, создавая «Полтаву». Теперь рукою Пушкина-историографа отбрасываются эпитеты «прекрасный», и «радостный», и создается изображение тирана, чьи жестокие, самовластные указы, казалось, были «писаны кнутом».

Постепенно овладевал Пушкин исторической правдой, отрешаясь от поэтически-славословного образа Петра. «Я еще не мог доселе постичь и обнять умом этого исполина, — говорил Пушкин В. И. Далю при встрече с ним в Оренбурге в 1833 г., — он слишком огромен для нас близоруких, и мы стоим еще к нему близко, — надо отодвинуться на два века, — но постигаю его чувством».

Шла большая, углубленная работа над архивными материалами. Выписки, замечания, мысли в течение последних лет составили несколько тетрадей; к 1834 году относится только часть материалов.

Пушкин овладевал и языком, близким к эпохе Петра. Как летописец, заканчивает он черновой очерк первой главы «Истории Петра»: «Отселе царствование Петра единовластное и самодержавное».

Но какого углубления, какой сосредоточенности требует поставленная Пушкиным историческая задача! Для ее осуществления необходимы, как первое условие, нормально спокойная обстановка, свободная от семейных и материальных забот, свобода в высказываниях, свобода от всякой зависимости.

Всех этих условий нет в 1834 году. Это — один из самых гнетущих периодов для Пушкина по сгущенности

социальных противоречий, по обострению той зависимости, которая, по его выражению, «унижает нас», по стечению острых и неотложных забот, связанных с полным расстройством дел по имению отца, с поисками средств для существования семьи. К этому присоединяются непрерывные хлопоты в течение нескольких месяцев по напечатанию и изданию большого труда — «Истории Пугачева».

В этом году проходит и чрезвычайно тягостный по остроте переживаний эпизод с отставкой, когда Пушкин убеждается, что унижающая его зависимость и дальнейшие компромиссы по отношению к царю и его окружению неустраимы.

В этом же году царь надевает на поэта придворный мундир, — «полосатый кафтан», по ироническому замечанию Пушкина, — и наступает для него обязанность, морально его угнетающая, быть активным участником придворных церемоний.

Попытка к борьбе за освобождение от зависимости, от навязанного положения при дворе, кончаясь неудачей, ведет к ряду компромиссов в социальном поведении. «Спокойствия», необходимого для творчества, окончательно нет, почти все время уходит на семейные, денежные, хозяйственные и издательские хлопоты.

Образ Петра все более отходит из поля зрения Пушкина. В письмах Пушкина во второй половине 1834 года нет уже упоминаний о Петре I.

Правда, в следующем году Пушкин возвращается к теме о Петре, и эта тема продолжала его интересовать до конца 1836 года. Много времени он посвятил работе над источниками, настойчиво ища разрешения сложной проблемы Петра, — но так и не создалось благоприятных условий, и в результате, истории Петра I, написанной Пушкиным, мы не имеем.

Быть может, прав П. В. Анненков в своем предположении, что Пушкин «искал способа изобразить» Петра

согласно со своим собственным пониманием его», не оправдывая крутых и жестоких его деяний и в то же время «не оскорбляя официального мира, ожидавшего безусловной апофеозы преобразователя». «Пушкин так и умер, — замечает Анненков, — не отыскав способа примирить эти два совершенно противоположные требования».

Сомнения в возможности дать исторически верный облик Петра высказывал и П. А. Вяземский в своих замечаниях о Пушкине как историке. «Пушкин, — по его словам, — перенес бы себя во времена Петра и был бы его живым современником; но был ли бы он законным и полномочным судьей Петра и всего, что он создал? Это другой вопрос». «Не берусь решать его, — добавляет Вяземский, — ни в утвердительном, ни в отрицательном отношении».

II

Начало 1834 года резкой чертой определяет социальное положение Пушкина. С пожалованием его в придворное звание он включается в круг придворного общества и входит в раззолоченное окружение трона, которое является внешним выразителем блеска и пышности самодержавного режима.

Пушкин то с возмущением, то с иронией говорит и в письмах и в дневнике о своем придворном звании. Но если принципиально он не приемлет навязанного ему положения, то фактически он остается в этом звании, несмотря на попытки добиться отставки и уехать в деревню.

«Двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове» (Аничковском дворце) — так лаконично объяснил Пушкин в дневнике мотивы своего пожалования.

Пушкин пытался убедить себя, что в этом факте не было глумления над ним. В том же дневнике он заме-

чает, что царь, конечно, не имел намерения сделать его смешным.

В этом Пушкин, пожалуй, был прав. Здесь не могло быть умышленного издевательства со стороны Николая I, — здесь было проявление того неограниченного «самовластия», которое требовало всеобщей субординации, признавало человеком только облеченного в мундир. Тем более не мог не иметь мундира тот, кого желали приблизить к особе царя.

Была еще одна неприятная сторона в пожаловании камер-юнкером. Этот первый придворный чин давался обычно молодым людям, имевшим придворные связи, в начале их служебной карьеры. Пушкину на 35-м году появляться в кругу этой раззолоченной молодежи представлялось крайне оскорбительным. Он избегает, когда только можно, официального участия в церемониях. За пять дней до торжества по случаю открытия Александровской колонны 30 августа 1934 г. он спешно уезжает к жене на Полотняный завод.

«Ни за что не поеду — представляться с моими товарищами камер-юнкерами — молокососами 18-ти летними, — записал он 5 декабря 1834 г. в дневнике, — царь рассердится — да что мне делать?»

Есть свидетельства современников, что Пушкин был вне себя, когда ему сообщили новость о его пожаловании и что друзьям его стоило больших усилий удержать его от проявления резкого протеста против подобной «монаршей милости».

Но порыв гнева прошел, и Пушкин формально подчинился. Для выражения своего протеста он избрал иной путь, и в этом отношении характерны его записи в дневнике за 1834 и 1835 годы.

Если внешне с самого начала года Пушкин ведет светскую жизнь, сопровождая свою жену на рауты и балы. устраиваемые при дворе и высшей знатью, то мысль его все время занята осуществлением тех серьезных историо-



графических планов, которым с таким увлечением и настойчивостью отдается он за эти годы.

«История Пугачева» написана им вчерне в течение 1833 года, но он продолжает свою работу над материалами о Пугачеве, ведет переписку по этому вопросу, в частности с Д. М. Бантыш-Каменским, И. И. Лажечниковым, и дополняет свой труд новыми данными. Много времени он посвящает глубоко интересующей его работе над материалами о Петре I.

Эта сосредоточенность в работе над историческими документами свидетельствует о том, что Пушкин не оставлял мысли стать историографом, — мысли, которую он высказал в негативной форме еще в 1831 году, в письме к Бенкендорфу:

«Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина. Но могу исполнить давнишнее свое желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III».

«Не смею и не желаю» — было фразой условного приличия.

Положение историографа не только определяло бы направление дальнейшей литературной работы Пушкина, но обеспечило бы его и материально, избавило бы от тех тревог за будущее семьи, которые он высказывает в письмах к жене:

«Умри я сегодня, что с вами будет! Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане и еще на тесном Петербургском кладбище...»

Определенный материальный интерес связан и с изданием «Истории Пугачева». Угнетаемый долгами и запутанностью своих дел, Пушкин хлопочет о правительственной ссуде по изданию и обращается к Бенкендорфу с просьбой о выдаче ему из казны заимообразно 20 000 руб. с уплатой их в два года. Письмо отправлено 26 февраля, а 4 марта Бенкендорф дает уже ответ, что государем ссуда разрешена.

Одновременно с этим М. М. Сперанскому сообщается о дозволении царя печатать «Историю Пугачева» в одной из подведомственных Сперанскому типографий, и Пушкин получает от Бенкендорфа уведомление, что царь одобрил второй том «Истории» за исключением нескольких мест, где им «собственноручно» сделаны отметки. Самое заглавие оказывается неприемлемым, и «Историю Пугачева» Николай переименовал в «Историю Пугачевского бунта».

Печатание «Истории Пугачева» задержало Пушкина в Петербурге на все лето. Семья его уехала еще в половине апреля в Москву и все лето провела на «Полотняном заводе», имени Гончаровых в Калужской губернии.

Пушкин остался один до осени.

Одиночество на этот раз не радовало Пушкина. Оно не создало тех благоприятных условий, как это было осенью 1830 года в далеком уединенном Болдине. Для творчества одинокие дни северного лета в Петербурге прошли бесследно: ничего, кроме забот семейных, денежных и деловых по изданию «Истории Пугачева».

С середины лета начинается печатание Пугачева, и день за днем проходят для Пушкина в правке корректуры.

«Я работаю до низложения риз, — писал он в июле жене. — Держу корректуру двух томов вдруг, пишу примечания... Сейчас принесли мне корректуру, и я тебя оставил для Пугачева».

Несмотря на одиночество, Пушкина не влечет к недавним привычкам холостой жизни.

«Холостой, холостой Пушкин!» — встретили его радостными возгласами друзья, когда он попрежнему зашел обедать к Дюме. Стали потчевать его шампанским, спрашивать, не поедет ли он, как в былые годы, к «Софье Астафьевне»?

«Все это меня смутило, — признавался Пушкин жене, — так что я к Дюме являться уже более не намерен и обе-

даю сегодня дома, заказав Степану ботвинью и бифштекс».

Заходя после этого снова к Дюме, он нарочно изменяет свой обычный час и обедает раньше, часа в 2, чтоб не встретиться «с холостой шайкой».

В июне Петербург пустеет. «Все на дачах, а я сижу дома до 4 часов и пишу».

По утрам Пушкин ходит в Летний сад. «Да ведь Летний Сад — мой огород. Я, вставши от сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу, я в нем дома».

Он настолько отвыкает от «света», что, приехав на бал австрийского посланника Фикельмона, чувствует себя крайне неловко. «Вот вчерась, как я вошел в освещенную залу с нарядными дамами, то я смутился, как немецкий профессор: насилу хозяйку ншел, насилу слово вымолвил. Потом осмотревшись, увидел я, что народу не так-то много и что бал этот запросто, а не раут... Вот наелся я мороженого и приехал [к] себе домой в час».

«Кажется, не за что меня бранить, — обращается он к жене. — О тебе в свете много спрашивают и ждут очень. Я говорю, что ты уехала плясать в Калугу. Все тебя за это хвалят. И говорят: ай да баба! — а у меня сердце радуется».

Из всех искушений только перед одним не мог устоять Пушкин: перед влечением к азартной игре. Страстный игрок, каким его характеризовал в своих записках А. Н. Вульф, проявился снова, хотя и на короткое время.

«Я перед тобой кругом виноват в отношении денежном, — каюлся Пушкин перед женой. — Были деньги и проиграл их».

Это совпало с днями тех острых переживаний, которые предшествовали подаче им прошения об отставке. В эти дни Пушкин не имел совершенно покоя: «Здесь меня тербят и бесят без милости. И мои долги и чужие мне покоя не дают».

Необходима была твердая воля, чтобы удержаться в Петербурге и не уехать, бросив все, к семье на Полотняный завод: «Туда бы от жизни удрал!» — вырывается у него искреннее признание.

Но он все же не едет и ищет временного отвлечения от беспокойных мыслей. «Я так был желчен, что надобно было развлечься чем-нибудь», — оправдывает он свое неожиданное возвращение к карточной игре.

«Я привык опять к Дюме и Английскому клубу, а этим нечего хвастаться».

III

В письмах к жене, — дружеских, откровенных, — чувствуется в то же время беспокойная мысль, не всегда высказываемая Пушкиным и маскируемая шутиливой формой.

Это — постоянное беспокойство за поведение Наталии Николаевны, недостаточно выдержанное, иногда кажущееся ему легкомысленным, за сохранение той привязанности с ее стороны, которая, по видимому, успела окрепнуть за четвертый год совместной жизни и так легко могла порваться при головокружительном успехе Наталии Николаевны в высшем свете.

Расставаясь с женой, Пушкин чувствует, что она уходит из-под его влияния. Его письма полны наставлений, то трогательных по своим заботам, то довольно решительных, когда он недоволен ее поведением.

Он недоверчиво относится к ее как-будто откровенным признаниям в письмах и то иронически, то с некоторым беспокойством отзывается на новые ее знакомства, особенно, когда в своих письмах она заполняет «лист кругом подробного описания» этих встреч.

Вот, например, одно из характерных наставлений в письме от 22 апреля 1834 года, когда она уехала в Москву:

«Не таскайся по гуляньям с утра до ночи, не пляши

на бале до заутрени. Гуляй умеренно, ложись рано. Не читай скверных книг дединой библиотеки, не марай себе воображения, женка».

Иногда наставления принимают строгий, решительный характер: «кокетничать я тебе не мешаю, но требую от тебя холодности, благопристойности... не говоря уже о беспорочности поведения».

Но Пушкин понимал, насколько тщетными оставались его наставления, и постоянно находился под властью сомнений. Даже держа в руках портрет жены и вглядываясь в ее черты, он делает приписку в письме: «цалую твой портрет, который что-то кажется виноватым».

Беспокойство и подозрения овладевают Пушкиным, как только он не получает писем от жены.

«Где ты? что ты? — пишет он в июле. — «Что так могло тебя занять и развлечь? какие балы? какие победы? уж не больна ли ты? Или просто хочешь меня заставить скорее к тебе приехать? Пожалуйста, женка, — брось эти военные хитрости, которые не в шутку мучат меня за тысячу верст от тебя». «Возвращаюсь домой рано, надеюсь найти от тебя письма, и всякий день обманываюсь. Тоска, тоска!»

Другое письмо, написанное в июле, т. е. после трехмесячной разлуки с женой, выдает его беспокойную мысль о том, что Наталья Николаевна могла измениться в отношениях к нему. «Надеюсь, что ты передо мной чиста и права, — говорит он ей, — и что мы свидимся, как расстались».

Эти сомнения становятся более понятными, если вспомнить, что 1834 год совпадает с блестящим успехом Натальи Николаевны при дворе. В январе 1834 года после пожалования Пушкина в придворное звание состоялось официальное представление Н. Н. Пушкиной ко двору, и после этого Пушкины приглашались на придворные балы, не исключая интимных балов в Аничковом дворце. Это было завершением тех успехов в большом свете, которые

сопровождали появление Пушкиной на балах, начиная с 1831 года.

«Жена Пушкина сияет на балах и затмевает других» — писал князь П. А. Вяземский А. И. Тургеневу в сентябре 1832 г.

Как сильно было впечатление, производимое Натальей Николаевной в светском обществе, можно видеть из того портрета, который набросал граф В. А. Соллогуб в своих воспоминаниях: «Много видел я на своем веку красивых женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединила бы в себе такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая; с баснословно тонкой талией, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее... Да, это была настоящая красавица, и недаром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли как-то при ее появлении...» «Я с первого же раза без памяти в нее влюбился» — добавляет Соллогуб.

«Грациозной, стройно созданной, богиньобразной, мадонистой» — называет Жуковский Наталью Николаевну в своем письме от 30 января 1834 г., в котором он приглашал Пушкиных на свои именины вместе с Карамзиными, Вяземскими, Виельгорскими и Смирновыми.

При облике, напоминавшем античные статуи, — «Евтерпу Луврского музея», — по замечанию одного современника, — в характере Натальи Николаевны не было серьезных, положительных черт.

По наблюдению дочери Карамзина, княгини Е. И. Мерцеровской, Наталья Николаевна отличалась легкомыслием, самоуверенностью и беспечностью в такой мере, что совершенно не замечала «той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж».

Тщетными оставались слова Пушкина, скорее просьбы, обращенные к жене: «Побереги же и ты меня. К хлоп-

там, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных...»

IV

В конце июля Пушкин с облегчением сообщил жене, что дела его подвигаются, что два тома «Истории Пугачева» печатаются сразу. Он очень занят в это время и работает с самого утра до 4 часов дня, выправляя корректуры. Осталось еще просмотреть 9 листов, и скоро наступит ожидаемый момент, когда можно будет подписать: «печатать» — и выехать к жене и детям.

Но работа несколько затягивается, и только в конце августа, почти накануне именин Натальи Николаевны, он может наконец бросить Петербург и покончить со столь тягостным одиночеством.

Несомненно, что это одиночество не столь тяготило бы Пушкина, если бы снова его захватило то творческое настроение, которое наполняло глубоким содержанием дни его отшельничества в Михайловском в 1824-1826 годах и в Болдине в 1830 году. Но 1834 год дает длительный разрыв в творческой деятельности Пушкина.

«Поэзия, кажется, для меня иссякла, — пишет он в октябре 1834 г. в ответном письме А. А. Фукс, приславшей ему свои стихи. — я весь в прозе, да еще в какой! право, совестно; особенно пред вами!»

Эти строки Пушкин написал по возвращении из Болдина. Коротко и быстро пронеслись Болдинские дни 1834 года, не оставив почти следа в творчестве Пушкина. Золотая Болдинская осень 1830 года, отягченная богатыми плодами, второе «Болдино» 1833 года, также творческое и «плодоносное», — отошли в прошлое. Поиски осенних творческих настроений в третий раз в отдаленном Болдине оказались тщетными.

«Коли нет — так с богом в путь» — решает Пушкин перед отъездом из Болдина. Но трудно примириться с

творческим упадком, и Пушкин ищет компромиссного выхода: «да и в самом деле: неужто близ тебя не распишусь» — обращается он к жене.

Иронией звучит надежда «расписаться» близ Натальи Николаевны, когда день за днем он должен сопровождать ее с бала на бал и проводить время в светских салонах.

Только увеличения забот мог ожидать Пушкин по возвращении из Болдина. Не обращая внимания на его доводы, Наталья Николаевна настояла на своем и перевезла к себе на петербургскую квартиру своих сестер Екатерину и Александру Гончаровых. В то же время состоялся переезд Пушкина из дома Оливье на Пантелеймоновской ул. в дом Баташева у Прачешного моста по Дворцовой набережной.

Среди этих семейных хлопот подошло 19 октября, традиционный день встречи с лицейскими друзьями. Это могло быть поводом, чтобы дать новые стихи, подобные 19 октября 1825 и 1831 г.

Но Пушкин промолчал. Да и самый праздник прошел мало заметно, в слишком тесном кругу.

Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину,
Тем реже он...

Собрались у М. Л. Яковлева всего семеро, считая хозяина: Пушкин, Данзас, бар, Корф, Комовский, Матюшкин, Стевен. Илличевского ждали, но он заболел и не мог прийти. Из далекой Сибири, из ссылки, пришло приветствие от И. И. Пущина через кн. Е. И. Трубецкую: «Несмотря на отдаление, он мысленно в вашем кругу», — писала Трубецкая.

V

Во время пребывания Пушкина в Болдине (13 сентября — 1-ая половина октября 1834 г.) его навещал А. М. Языков, брат поэта. Пушкин, по его словам, «по-

казывал» ему «Историю Пугачева» и «несколько сказок в стихах». Здесь — очевидная неточность: закончена в Болдине осенью 1834 года только одна сказка «О золотом петушке» (20 сентября, за шесть дней до приезда Языкова).

Завершение «Сказки о золотом петушке» — единственный результат Болдинской осени.

Сказка была начата раньше. Имеется черновая запись ее в одной тетради с произведениями 1833 года. Непосредственно к 1834 году относится черновая рукопись, включающая в себе текст сказки, начиная со стихов:

Год другой проходит мирно —
Петушок сидит все смирно...

Язык, стиховое построение «Золотого петушка» дают ярко выраженный характер народной сказки. Но, несмотря на народно-сказочную форму, сюжет «Золотого петушка» заимствован не из народных сказаний.

Вопрос об источниках этой сказки долгое время оставался невыясненным, и только с опубликованием А. А. Ахматовой ее исследования¹ можно с достоверностью утверждать, что сюжет заимствован из иностранного источника. Тема и отдельные положения «Сказки о золотом петушке» повторяют фабулу «Легенды об арабском звездочете» из Альгамбрских сказок Вашингтона Ирвинга. Сказки эти имелись в библиотеке Пушкина на французском языке и могли быть им использованы как источник для «Золотого петушка».

Заимствованная тема подверглась значительной переработке. Часть сказки, изображающая посылку царем Дадоном одной рати за другой, то во главе со старшим сыном, то с младшим, поход самого царя Дадона и его

¹ Анна Ахматова. Последняя сказка Пушкина. — «Звезда» 1933, № 1.

встречу с Шамаханской царицей, составляет оригинальное творчество Пушкина.

В первоначальном тексте сказки имелся стих:

Но с царями плохо вздорить...

и сказка заканчивалась поучением:

Сказка ложь, да нам урок,
А иному и намек.

Пушкин на себе испытал, как «плохо вздорить с царями», и первоначальный стих имел определенно автобиографический характер. Под «иным» Пушкин явно разумел Николая; к нему был обращен «намек» в фантастическом изображении гибели Дадона, не сдержавшего своего царского слова.

Пушкин, предвидя цензурные затруднения, вычеркнул эти строки и замаскировал ясно выраженную сентенцию, заменив ее стихом:

Но с иным накладно вздорить...

и дав новую концовку:

Сказка ложь, да в ней намёк!
Добрым молодцам урок.

Таким образом устранялась подчеркнутость политического смысла сказки и исчезала совершенно какая-либо параллель между сказочным царем Дадонем и Николаем.

Но концовка и в таком виде не была пропущена цензурой. Безусловному запрещению подвергся также слишком недвусмысленный возглас золотого петушка: «царствуй, лежа на боку!»

Цензура не ошиблась, увидя в этой фразе острие политической сатиры, проходящей через все содержание сказки.

Но заботливость была излишне усердной. Николай I мог счесть эту фразу дерзкой, но отнести к себе не мог.

Пущенная стрела не могла попасть в монарха, слишком активно проявлявшего в своей деятельности волю и власть самодержца. Нельзя было отнести ту же фразу и к Александру I, который тоже не мог «царствовать лежа на боку», когда надвигались грозные события 1812 года, когда и в последующие годы он, «властитель слабый и лукавый... нечаянно пригретый славой», должен был «силою вещей» сыграть историческую роль в борьбе с Наполеоном.

Острые сатиры оказались направленным вообще против монархического режима, где правитель предается беспечности и лени, тешится с «шамаханскими» чаровницами, тогда как все тяготы ложатся на народ, войско и служилых людей. Общей сентенцией звучал и предостерегающий «намёк», что и для царей неминуемо возмездие за нарушение царского слова и самовластные расправы (последняя сцена царя Дадона со звездочетом).

Этим и исчерпывается политический смысл «Золотого петушка», не имеющего в целом специальной направленности еще и потому, что сюжет и отдельные положения сказки Пушкиным заимствованы. Царь Дадон и мудрец — это те же Абен-Габуз и звездочет из Альгамбрских сказок Ирвинга, но облеченные в пестрое одеяние русской народной сказки.

«Сказка о золотом петушке» — последняя из сказочного цикла Пушкина за 1831—1834 гг., в который вошли сказки «О царе Салтане», «О попе и его работнике Балде», «О мертвой царевне и о семи богатырях» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

Кроме «Сказки о золотом петушке» к законченным в 1834 г. художественным произведениям относится только повесть «Кирджали», задуманная еще в 1823 г. во время пребывания в Кишиневе.

«Вообще пишу много про себя, а печатаю по-неволе и единственно для денег, — писал Пушкин М. П. Погодину в начале апреля, — охота являться перед публикой, кото-

рая вас не понимает, чтоб четыре дурака ругали вас потом шесть месяцев в своих журналах...»

К незавершенной творческой работе 1834 г. в значительной части относятся записки на тему о сочинении Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», известные со времени Анненковского издания сочинений Пушкина под наименованием «Мысли на дороге». Записки, объективно, по их буквальному пониманию дающие представление об отходе Пушкина на консервативные позиции, особенно в высказываниях о ведущей роли правительства в области образования и просвещения, о значении цензуры, о преимуществе социальных изменений, происходящих от «улучшения нравов», а не от «потрясений политических, страшных для человечества» (главы «Торжок», «Русская изба», «Шоссе»), были начаты Пушкиным в 1833 году и продолжены им в 1834 и 1835 годах, но остались незавершенными.

Позднее, в 1836 году, Пушкин вернулся к теме о Радищеве и написал для издававшегося им журнала «Современник» статью «Александр Радищев», но статья не была пропущена цензурой и в печати не появилась.

Постановка такой темы, как политические взгляды Радищева, автора запрещенного за революционность «Путешествия в Москву», — сама по себе свидетельствовала о постоянстве обостренного интереса Пушкина к революционным проявлениям, как в мысли, так и в действии, притом интереса не исследовательского порядка, а действительного, обнаруживающего неизменность революционного начала в самом Пушкине.

Этим фактом, т. е. постановкой самой темы, продолжается одна и та же линия, ведущая от революционных стихотворений после-лицейского периода к «Андре Шенье», «Посланию в Сибирь», к теме бунта в «Дубровском», «Медном Всаднике», в «Истории Пугачева», в «Сценах из рыцарских времен» и, наконец, к мыслям о Радищеве.

В таком преломлении теряют определенность своей

окраски консервативные высказывания в «Мыслях на дороге» и приобретают характер политического компромисса.

Признавая реальную силу установившегося режима, Пушкин видит в нем историческую необходимость; в творчестве Пушкина последних лет не находят себе отклика воодушевлявшие его прежде революционные идеи, и мысль его обращена к тем прогрессивным стремлениям, которые не связаны с «потрясениями политическими, страшными для человечества».

Все выдержки его из «Путешествия» Радищева, которые относятся к бесправному положению крестьян (главы «Черная Грязь», «Городня», «Медное», «Вышний Волочек», «Русская изба»), взятые в целом, должны были вновь привлечь общественное внимание к мрачной картине угнетения крестьянства и самовластия помещиков. Примеры из крепостного быта, приводимые наряду с этим самим Пушкиным, подтверждали, что произвол и издевательство над человеческой личностью не отошли еще к далеким временам Радищева.

В черновой рукописи главы «Шоссе» Пушкин отмечает, что он «начал записки свои не для того, чтобы льстить властям». И он, действительно, не льстит властям, когда приводит выдержки из «Путешествия» Радищева, клеймящего крепостной режим, или когда, воспроизведя текстуально отрывок из Радищева о продаже крестьян с публичного торга, говорит: «картина ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях... с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле».

Замечательны также мысли Пушкина в той части записок, которая известна под наименованием «Разговора с англичанином». Под видом мнения англичанина, своего собеседника в пути до станции Клин, Пушкин так высказывается об эксплуатации английских рабочих: «прочтите жалобы. Английских фабричных работников — во-

лоса станут дыбом. Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, — о евреях, работающих под бичами Египтян. — Совсем нет: дело идет об сукнах г-на Смидта или об иголках г-на Томпсона (сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой, какая страшная бедность!). Те же мысли, но без ссылки на «англичина», повторены Пушкиным и в главе «Русская изба».

Из статей и записок, датированных 1834 годом, остались также незаконченными статья о русской литературе с очерком французской и замечания к «Слову о полку Игореве».

Характеризуя в своей статье литературно-философское течение XVIII века, вдохновляемое во Франции Вольтером, Пушкин остается на тех же позициях, как и в «Мыслях на дороге», и критически оценивает разрушительное влияние Вольтера на умы, — того Вольтера, который всю жизнь оставался для Пушкина образцом высокого поэтического искусства.

«Любимым орудием» философии XVIII века, говорит Пушкин, «была ирония холодная и остроумная и насмешка бешеная и площадная... Весь его (Вольтера) разрушительный гений со всей свободой излился в циничной поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии».

«Влияние Вольтера было невероятно... Умы возвышенные следуют за ним. Задумчивый Руссо провозглашает себя его учеником; пылкий Дидрот есть самый ревностный из его апостолов... Смерть Вольтера не останавливает потока — Бомарше влечет на сцену, раздевает до-нагà и терзает все, что еще почитается неприкосновенным».

В связь с этим разрушительным течением Пушкин ставит упадок французской литературы.

Переходя к «изучению нашей словесности», он указывает на отрицательное влияние французской литературы конца XVIII века: «Знаменитые писатели не имеют ни одного последователя в России, но бездарные писаки, грибы, выросшие у корней дубов: Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар, м-м Жанлис овладевают русской словесностью».

Таким размышлением кончается краткий отрывок о «русской словесности», и только из оставшихся набросков плана можно в известной степени судить о развитии темы по обзору русской литературы с начальных ее времен.

«К сожалению, старой словесности у нас не существует, — замечает Пушкин. — За нами темная степь — и на ней возвышается единственный памятник: «Песнь о полку Игореве».

Пушкин с глубоким интересом изучал этот древний литературный памятник. Замечания его на «Слово о полку Игореве», датируемые 1834 годом, свидетельствуют о начале им большого труда по толкованию и переводу «Слова».

Нарастание одного замысла за другим мешало Пушкину отдаться всецело одной из намеченных им больших тем. Можно предполагать, что в 1834 году Пушкин, кроме своих исторических трудов, работал над планами романа, озаглавленного в рукописи условным наименованием «Русский Пелам» и повестей «О стрельце и боярской дочери» и о «Сыне казненного стрельца». На ряду с этим все более определенно развивается в различных вариантах план большого произведения в прозе — художественной переработки материалов по восстанию Пугачева. Этот план нашел себе окончательное воплощение в романе «Капитанская дочка».

VI

Почти накануне 1834 года произошло событие, которое, казалось, должно было повести к полному разрыву Пушкина с властью.

Завершив в Болдине «Медного Всадника», Пушкин представил свой творческий труд в порядке «высочайшей» цензуры на благоусмотрение Николая.

Поэму о Петербурге и его основателе, «великом» Петре, первым читал тот, в ком, по замечанию в «дневнике» Пушкина, было «много прапорщика и мало Петра Великого».

Замечания, конечно, последовали и соответствовали подлинному характеру цензуры. Запрещены были те органически спаянные со всей поэмой места, без которых поэт не мог печатать своей «петербургской повести»; запрет их означал запрет всего произведения.

Нет точных данных, что переживал Пушкин, получив цензурный экземпляр, но в письмах и дневнике, отзываясь о происшедшем, он краток и деловит.

«Мне возвращен «Медный Всадник» с замечаниями государя, — заносит он в свой дневник 14 декабря 1833 г. — Слово „кумир“ не пропущено высочайшей цензурой, стихи:

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиросная вдова —

вымараны. На многих листах поставлен [?] — все это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным».

И только.

В письме к Нащокину еще более усиливается прозаическая оценка запрещения «Медного Всадника». Пушкин характеризует происшедшее как «денежные неприятности».

Другое событие происходит в 1834 году. По своему

характеру оно соответствует режиму бесправия и не могло быть неожиданностью для Пушкина. Тем не менее Пушкин крайне обостренно воспринимает слишком близко коснувшийся его акт произвола, и долго не утихают в нем негодование и протест против правительственной системы. Протест гражданина острее и глубже проявляется в Пушкине, чем протест поэта, создавшего «Медного Всадника».

Из записки, полученной от Жуковского в начале мая, Пушкин узнал, что письмо его «ходит по городу» и что Николай говорил по содержанию письма с Жуковским. Оказалось, что в порядке политического надзора было вскрыто на почте письмо Пушкина к жене, представлено выше по инстанциям и дошло до царя.

В этом письме, посланном из Петербурга в Москву 22 апреля, имелись такие строки:

«Все эти праздники просижу дома [дни пасхи]. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен, царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи, да ссориться с царями!»

Эти мысли, интимно высказанные в беседе с женой, стали общим достоянием — и царя, и жандармов, и двора.

Произвол цензуры Пушкин принимал как неизбежное зло. Цензура была официальным установлением, тайная же перлюстрация его писем к жене — это был уже бесчестный прием.

И в таких действиях участвовал тот царь, которого в первые годы правления Пушкин приветствовал своими «Стансами»:

Во мне почтил он вдохновение,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленьи,
Его хвалой не воспую?

тот, о ком поэт сказал: «он бодро, честно правит нами».

Теперь иные мысли выходят из-под пера Пушкина, и в своем дневнике он дает достойную оценку и царю, и полицейскому режиму. Характерны заключительные строки этой записи: «мудрено быть самодержавным».

«Самодержавие» Пушкин представлял себе как власть, стоящую вне интриг, сыска и полицейских приемов. Но неоспоримые факты говорили другое: Николай, «самодержец», активно участвовал в позорном акте перлюстрации и не стыдился «в этом признаться».

Пушкин долго не может найти успокоения. Он опасается, что все письма его подвергаются перлюстрации. В письмах к жене постоянно возвращается он к этой теме: «Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство à la lettre. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (*inviolabilité de la famille*) невозможно. Ка-торга не в пример лучше».

Через несколько дней он снова пишет жене: «будь осторожна, вероятно, и твои письма распечатывают» и добавляет с иронией: «этого требует государственная безопасность».

Только письмо от 11 июня говорит о некотором примирении: «на того [т. е. царя] я перестал сердиться, потому что, *toute reflexion faite*¹, не он виноват в свинстве, его окружающем».

Это компромиссное рассуждение склоняет Пушкина к дальнейшему примирительному отношению к Николаю.

¹ По всестороннем обсуждении.

Тем не менее горечь происшедшего не изжита, она обостряет беспокойную мысль о гнетущей зависимости, о безысходности материального положения. Горестные раздумья о своей зависимости поэт передает в письмах к жене, ища в ней дружеского отклика.

«Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны, — говорит он в письме, — и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольства».

«Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас» — добавляет он в другом письме.

«Я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами». Это сознание унижительности службы заставляет Пушкина искать развязки в разрыве со своим официальным положением и правящими сферами.

VII

Оскорбленный перлюстрацией его переписки, Пушкин в письмах к жене начинает говорить об отставке:

«Плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино». «Погоди, в отставку выйду, тогда переписка нужна не будет». Эта мысль приобретает все более настойчивый характер. С нею связываются заботы о семье и об имении отца.

«Я крепко думаю об отставке... Должен подумать о судьбе наших детей. Имение отца, как я в том удостоверился, расстроено до невозможности и только строгой экономией может еще поправиться. Я могу иметь большие суммы, но мы много и проживаем».

Под влиянием «крепкой думы» об отставке 25 июня Пушкин послал шефу жандармов графу Бенкендорфу короткое письмо (на французском языке) с просьбой об отставке:

«В виду того, что семейные дела вызывают необхо-

димось моего присутствия то в Москве, то в провинции, — я вижу себя вынужденным подать в отставку и убедительно прошу В. Пр-во исходатайствовать на то соизволение». Вместе с тем Пушкин просил о сохранении за ним права посещать архивы.

Письмо об отставке было принято царем как непочтительный вызов, как личная обида. Среди друзей Пушкина оно вызвало своей неожиданностью крайнее беспокойство.

Официально Николай решил не препятствовать уходу Пушкина в отставку. «Я никогда не удерживаю никсго и дам ему отставку, — сказал Николай Жуковскому, — но в таком случае все между нами кончено».

В этих словах была уже скрытая угроза.

Слова царя о нежелании кого-либо удерживать против воли были подтверждены и Бенкендорфом в письме от 30 июня, в котором он извещал Пушкина об удовлетворении его просьбы царем и о запрещении в дальнейшем посещать государственные архивы, «так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенною доверенностью начальства».

Чрезвычайно был взволнован происшедшим Жуковский.

«Глупость, досадная, эгоистическая, неизглаголанная глупость! — писал он с возмущением Пушкину. — Как мог ты, приступая к тому, что ты так искусно состряпал, не сказать мне о том ни слова, ни мне, ни Вяземскому — не понимаю!»

Жуковский предпринял решительные шаги, чтобы ликвидировать инцидент с отставкой. Он имел разговор с царем и заботливо ставил вопрос: «нельзя ли как это поправить?» Совершенно был он растроган ответом, что поправить можно и что Пушкину предоставляется взять свое письмо обратно.

Спеша сообщить об этом Пушкину, он добавляет: «никак не воображал, чтобы была еще возможность попра-

вить то, что ты так безрассудно соблаговолил напакостить». Из смысла письма Жуковского вытекало, что поступок Пушкина является непростительной неблагодарностью по отношению к царю.

Такая постановка вопроса обеспокоила и Пушкина. Подобное толкование его просьбы об отставке было для него неприемлемо, решающим же моментом для дальнейших его действий была угроза запрещения пользоваться архивом.

Этим была бы обречена на неудачу задуманная им «История Петра». Немыслимы становились и другие исторические труды.

Чувствуя что «с царями плохо вздорить», Пушкин поспешил послать Бенкендорфу 3 и 4 июля одно за другим два письма. В первом из них он просил не давать хода заявлению об отставке: «Я предпочитаю скорее быть непоследовательным, чем неблагодарным» — оправдывался он перед Бенкендорфом.

Во втором письме Пушкин, уступая наставлениям Жуковского, находит, наконец, слова, которые, по существовавшим понятиям, приличествовали при обращении к царю.

Прошение об отставке он называет необдуманном, выражает опасение, что его поступок мог показаться «безумной неблагодарностью и супротивлением воле того, кто доньше был более... благодетелем, нежели государем».

Пушкин спешит оправдаться перед Жуковским. «Подав в отставку я в минуту хандры и досады на всех и на все. Я право сам не понимаю, что со мной делается. Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие — какое тут преступление, какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу».

Письмо к Жуковскому оказалось также в руках у Бенкендорфа, который представил письма Пушкина Николаю при докладной записке.

«Так как он сознается в том, что сделал просто глупость и предпочитает казаться лучше непоследовательным, нежели неблагодарным,—докладывал Бенкендорф, то я предполагаю, что В. В. благоугодно будет смотреть на его первое письмо, как будто его вовсе не было... Лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе».

Царь на записке Бенкендорфа дал резкий отзыв о поведении Пушкина.

— «Я его прощаю, но пригласите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться... что могло бы быть простиительно двадцатилетнему безумцу, не может быть извинительно человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства».

Жуковского не удовлетворили ни объяснения Пушкина, ни тон его письма к Бенкендорфу. Выведенный из терпения неподатливостью Пушкина и его непониманием, как надо обращаться к царю, он излил свое возмущение в весьма откровенных выражениях:

«Я право не понимаю, что с тобой сделалось, ты точно поглупел; надобно тебе или пожить в желтом доме или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение... Разве ты разучился писать? разве считаешь ниже себя выразить какое-нибудь чувство к государю? Зачем ты мудришь? действуй просто».

К этому Жуковский наставительно добавлял, что государь огорчен и считает подачу в отставку выражением неблагодарности.

Оказавшись столь неожиданно виновным в черной неблагодарности, Пушкин спешит успокоить Жуковского, что «попробует» написать еще одно письмо Бенкендорфу.

И действительно «пробует» и находит нужные, с точки зрения Жуковского, слова, но может ли он быть искренним, когда говорит, что осыпан милостями Николая и что царь всегда был для него провидением свыше. Эти фразы

звучат явной иронией, но ирония замечена не была, и Пушкину благосклонно было предоставлено попрежнему числиться на службе.

«На днях я чуть было беды не сделал, — писал он жене, — с тем чуть былс не побранился — и трухнул-то я, да и грустно стало. С этим поссорюсь, — другого не наживу. А долго на него сердиться не умею, хоть он и не прав».

И, как эпилог пронесшейся «беды» с отставкой, звучит запись в дневнике Пушкина: «прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором — но все перемололось. Однако это мне не пройдет».

Но вся острота перенесенного в 1834 году конфликта из-за «отставки» не могла удержать Пушкина от стремления к разрыву с петербургской жизнью, с навязанной служебной зависимостью. Не прошло и года, как он вновь поставил перед царем и Бенкендорфом вопрос о разрешении ему удалиться в деревню на несколько лет.

Правда, в письме к Бенкендорфу 1 июня 1835 года эта просьба выражена со всею осторожностью, с тщательной обрисовкой мотивов, которые сводились к невозможности существовать с семьей в Петербурге и необходимости отъезда в деревню во избежание полного разорения.

Сохранившийся черновой набросок письма со многими поправками и вариантами фраз свидетельствует о том, что Пушкину стоило большого труда согласовать свой поступок, идущий наперекор воле царя, с проявлением чувства «благодарности» и «преданности» Николаю, оказавшему так много ему «милостей», «не как государь и не по долгу и справедливости», а по «сердечной благодарности и великодушию».

Наставления Жуковского, очевидно, оставались в памяти у Пушкина, и он стремился заранее отстранить всякое подозрение в неблагодарности.

Но воля царя, хотя и удовлетворенного такими изъ-

ПУШКИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Серия: „Последние годы
творчества Пушкина“
— 1833—1837 —

Вып. II.

Л Е Н И Н Г Р А Д
1 9 3 4